

А. К. М.

— Григорий Израилевич, ваша «веронская пьеса» датирована 1993 годом. Она идет в Петербурге, Твери, Калининграде. А в Москве?

— Это спектакль трудной судьбы, он репетировался во МХАТе, потом перешел в Театр Маяковского, режиссер Татьяна Ахрамкова, ученица А. А. Гончарова (она же поставила мою пьесу «Кин IV»).

— В ролях?
— Звезды: Волков, Немоляева, Александр Лазарев, Балтер, Виторган и целый ряд молодых актеров, которые, я надеюсь, станут известными. Возможно, уже после этого спектакля, если он получится. Художник Станислав Морозов. Я надеюсь, что в сентябре будет премьера.

— «...Мы вам — не мальчик с девочкой, которых легко угробить себе на развлечение. Мы повоюем...» — хрипят ваши новые герои. Страшноватые, растрепанные, с искаженными лицами. Живучие как кошки. За это — честь им и слава. И все же это будет, верно, очень непривычный «театр Горина», воистину — «во время чумы...».

— Я ведь не прагматик, который просчитывает на компьютере, что нужно обществу. Я просто слушаю себя...

«Забудь Герострата!», моя пьеса 1970 года, говорила об опасности фашизма. Теперь мне кажется, что это — пьеса почти школьной назидательности.

Потом был «Тиль». Потом «Мюнхгаузен»: башня из слоновой кости, желание жить не по лжи, но в своем доме, ироническая, но мечта: поэзия уходит на Луну по лунной дорожке. Все, о чем мечтало мое поколение, пока не столкнулось с реальностью...

— Ваш двухтомник включает в себя ма-аленький текст 1990 года, письмо «свободного постсоветского человека, чья свобода достигла абсолюта», живущего на абсолютно самостоятельной же черноморской скале. Примечателен адрес: «Бывший СССР. Бывший Крым. Бывший Пик социализма, ныне — Вторая демократическая владина. Пещера номер один. Копать до упора...»

Если кто-то откликнется — спросить Гришу».

Чуть позже адрес вы сменили, чему свидетельством статья 1992 года «Я живу на площади имени Макдоналдса». То есть, судя по контексту, жили вы на Тверской, в благородном доме Нирензе, первом московском «небоскребе» начала XX века, славном некогда еще и театром-кабаре Никиты Балиева «Летучая мышь»...

— Да, и при приходе капитализма в Москву именно у нас, под полом моей квартиры, открылся первый ночной бар «Найт-флайт». (Он и сейчас там процветает.) Жить стало невозможно...

На статью мою ответил по телевизору тогдашний мэр Гавриил Попов: «А чего он жалуется? Он пишет пьесы: хочет зарабатывать валюту. Вот и Москва хочет зарабатывать валюту. А в центре писателю вообще жить не надо, писателю следует жить в тихом месте. А центр города в любой стране — это клубы, это ночные заведения, это веселая жизнь для богатых. И пусть он смирится!»

Я пожал плечами и перескал. Я своими пьесами довольно активно способствовал все-таки смене времен. Значит, должен нести ответственность и за те последствия, которые лично мне доставили неудобства...

— Вы простились с прежним домом. С прежним героем. На смену пришли персонажи киносценария «Трехрублевая опера», взмыленные, безденежные киношники, с грехом и смехом попилам снисмающие «Оперу нищих» Джона Гейя (она же с вариациями

Говорят — каждая эпоха менее всего ценит и более всего высмеивает те вещи, которыми восхищались ровно полвеком ранее. Потом, вестимо, проходит еще полвека: вчерашние жупелы начинают вызывать элгическую печаль, а обветшавшая отставная современность получает по заслугам. Потом проходит еще полвека...

То ли идеи изнашиваются в два раза быстрее вещей, то ли в нынешней России год идет за два, но те образы, те ценности, те билеты «на Тутанхамона», всем КБ разыгранные на спичках, те нервные декабристки в серебряных кольцах из подвала ЦДЛ, те авангардные сценические рогожные плащи, от которых в 70—80-х годах замирали сердца, вызывают нынче иной, столь же безусловный физиологический рефлекс.

Целых два. Усмешку и разлитие желчи. Посему — меня пугают пьесы Григория Горина. Особенно лучшие и любимейшие: «Тиль», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт». Киносценарий «О бедном гусаре замолвите слово...» (совместно с Э. Рязановым) пугает в той же мере.

Уж очень силен соблазн вновь все это понять, когда читаешь...

...В который текст ни взглядишь: вот, в 1974 году в московском Ленкоме был поставлен «Тиль», что, по свидетельству Марка Захарова, изменило судьбу театра. Чурикова — Неле и Караченцов — Уленшпигель, дерзкая аскеза сценографии, песни Кима, пепел Клааса, темная память недавних аутодафе, придорожные кабаки, петуший крик прав и свобод, ликующая нищета гезов — все было свое, здешнее и тогдашнее. Вечный сюжет не приторвался инсценировкой.

А чуть позже Мюнхгаузен занимался утром вместо пробежки разгоном облаков, высылал персональный ультиматум Англии с высокоинтеллектуальным требованием

«прекратить бессмысленную войну с североамериканскими колонистами и признать их независимость»... (За что боролись, барон? Есть ли вещи на земле менее совместимые, чем американская мечта и реальность Мюнхгаузена?) Вытаскивал себя за волосы из болота семейственности и высококорентабельного садоводства... ах, не зря, не зря сыграл Олег Янковский в те же самые годы того же — нектомированного! — героя в «Полегах во сне и наяву». Самоубийственная, разрушительная психология! Страшный, выморочный типаж! И мы на него заглядывались?!

Чтение Горина, вышедшего зимою двухтомника его сценариев, прозы, пьес угнетает, потому что свидетельствует — было! Вдохновляло и очаровывало: аполлогия ищущих натур, герой, наделенный вечной юностью, зритель, заклеянный вечным отравлением... Что вышло из зрителя — знаем сами лучше всех. Но если обратиться к первоисточнику — что стало с героем?

Ему все это тоже, собственно, даром не прошло. После казни бессмертного Тилля, ухода Мюнхгаузена вверх по лунной дорожке, последнего исчезновения декана Свифта, расстрела актера Бубенцова силами правопорядка, смерти бесплутного короля Георга IV в Букингемском дворце и гибели всерьез бесплутного актера Кина IV на сцене театра Друри-Лейн в роли Отелло (какой, однако, мариолог содержит эти легкие, острые, изящные пьесы!) — так вот, после всего вышперечисленного в театре Григория Горина изменился климат. Он стал суровей — знать, некому разгонять облака. Зато персонажам дает иную закалку... Прививку. Возможно, даже — иммунитет. Особенно в пьесе «...Чума на оба ваши дома!» (1993), пьеса эта есть продолжение «Ромео и Джульетты». В своем роде.

ИСТИНА В СЕБЕ

ПУСТЬ БУДЕТ
ДЕНЬ, КОГДА
НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ



«Трехгрошовая опера» Брехта). Задерганные «чесом» провинции, оглушенные отечественной продукцией — водкой «Набоков» — гастролеры в «Счастливец-Несчастливец»... «Чумные» Антонио с Розалиной.

— Что касается «Трехрублевой оперы» — это ведь в общем-то пародия, самопародия, рассказывающая о том, на какие ухищрения приходится идти, чтоб снять кино сегодня: стать действительно персонажами Брехта, персонажами Гейя... стать нищими, стать жуликами, чтоб хоть как-то существовать. Режиссер (он же Мэки-Нож в своем фильме) отчаянно ищет спонсора, уже совершенно не думая, откуда у него деньги. Над этим состоянием сегодняшним, над искусством, стоящим с протянутой рукой, можно либо плакать, либо смеяться.

Кстати, сами мы с режиссером Гинзбургом денег на съемки за три года так и не нашли. Сейчас попробуем сделать спектакль-бенефис Караченцова в Театре эстрады.

А еще «Трехрублевая опера» о том, что искусство перестало быть идеалом. Было. И перестало. Приходится искать идеалы в прошлом.

Или держаться за собственный разум... «Чума на оба ваши дома!» — тоже об этом. Мы устали от романтизма, дорога в ад выслана светлыми порывами,

красивые мальчики, которые выпивают яд и закалываются, вызывают умиленные ощущения, но ты-то уже понимаешь, знаешь, что любовь как таковая, семья как таковая сегодня на 80% состоят из трудностей, из грязи, из вопросов, где жить, чей ребенок, как его кормить, как устроить свадьбу и куда уехать...

— То есть Антонио — это Ромео, хлебнувший лиха?

— Да, в известном смысле! Потому что и в этом падении идеалов наступает миг, когда человек, сменивший трех жен, говорит: «Со мной случилась жуткая вещь! Я влюбился...» И опять в Вероне происходит настоящая любовь, только это не любовь героизированных девочек и мальчиков, которые с восторгом приняли смерть, а любовь взрослых людей, решивших послать на фиг все дома, в которых происходят войны. И — жить... Возделывать свой сад.

— ...Чего и не вынес некогда барон Мюнхгаузен: две поливки, три поливки... А жена его Марта, выпрыгнув из четырех экипажей сразу, сбегала еще раньше. Как получила, Григорий Израилевич, что простоватый вояка Распэ превратился в вашего остроумца и вольнодумца?

— О! Театр Советской Армии попросил меня написать пьесу о Мюнхгаузене для детского, утреннего спектакля. Я спросил: почему Мюнхгаузен?

Мне сказали: ну как же! Он был бравый генерал!

И первое, что я подумал: а может быть, он был честным человеком?

Потом наступил период радостного освоения всего, что было написано до тебя (я еще и за это люблю вечные сюжеты...). Была немецкая, националистического толка книга, был фильм — чуть иронический, но все-таки он там был как германский Илья Муромец... Был роман о сыне Мюнхгаузена, и еще была маленькая одноактная пьеса начала века. Русская пьеса забытого драматурга Юрия Беляева «Красный Кабачок»...

— ...И ставил ее Мейерхольд в Александринском театре в 1911 году, и сценарием был Головин, и сам Беляев славился как драматург в начале 1910-х гг., но недолго... Персонажи его упоминаются в «Поэме без героя». А «Красный Кабачок» я не читала, грешна. Там есть Мюнхгаузен?!

— Есть! В Москве эту пьесу, кстати, тоже играли — в уже упомянутой «Летучей мыши». Там офицеры едут в этот самый знаменитый в Петербурге гвардейскими кутежами Красный Кабачок, они засыпают, им является тень барона (он ведь, вы помните, состоял и на русской службе!), его начинают упрекать: враль!

И тут встает символист, как-то попавший в гвардейскую компанию, и говорит: «Нет! Он поэт!»

Вот так. Когда я это прочел, я поразился — насколько близко мышление...

Мюнхгаузен был живым человеком! В городе Боденвердере есть памятник ему, есть его музей, я был там и многое угадал, как выяснилось. Я угадал баронессу! Я думал, что такой странный господин не может всю жизнь прожить с нормальной титулованной немецкой дамочкой. Но я понятия не имел, что он действительно развился! Я в музее узнал об этом!

А потом там, в Германии, на спектакле ко мне подошел его прапрапра... правнук — двухметровый гренадер, красавец такой, землевладелец, живет там же — настоящий барон фон Мюнхгаузен. Я спросил его: не слишком ли я оскорбил вашу прабабку? (Это для меня они оба персонажи. А для него-то — живые люди,

предки...) Он сказал: нет. Она такой и была, вы угадали абсолютно точно.

...Я очень люблю возвращать персонажей на их родину: «Герострата» ставили в Греции. «Тиль» — в Амстердаме. «Мюнхгаузену» в Германии было непростое: пришлось довольно много зрителю объяснять в юморе. Скажем, то же тридцать второе мая, открытое бароном: они тоже смеются, но другим смехом — какая чушь! Не будет календаря — не будет порядка.

— Вы разделяете точку зрения, согласно которой российский театр — непонятно почему, несмотря ни на что, переживает расцвет?

— Пожалуй, разделяю! Я вице-президент ВААП, то есть РАО — Российского авторского общества, я получаю сводки театров, внимательно смотрю, кого сейчас хорошо играют. Это раньше было престижно не быть репертуарным, престижны были подвалы, куда приходят двадцать человек. Но драматург должен обладать умением собрать зал!

Залы полны, и не только в Москве и Петербурге. Залы собирают женщины: Надежда Птушкина сегодня несомненный лидер. Можно сразу вспомнить знаменитую «Овечку», но и другие ее пьесы хороши. Мне нравится, как пишет Ксения Драгунская и как работает в историческом жанре Елена Гремина. Мне нравятся петербургские драматурги: вот у Табакова сейчас ставят пьесу «Русская почта»...

— А что пишете вы?

— Андрей Миронов говорил, что я — начинающий писатель: у меня всегда начато несколько вещей. И сейчас: одна — для Марка Захарова, другая — для театра «Гешер» в Израиле...

— Какие реплики своих пьес вы сами себе цитируете?

— Вы знаете, одну сцену я недавно вспоминал. Мюнхгаузен говорит с Мартой. Она ему кричит: «Я мечтаю... Пусть будет хоть один день, когда ничего не происходит...». И всегда в этой сцене зрительный зал был прежде на его стороне. Это понятно...

И вдруг я понимаю, что теперь, включая телевизор, говорю себе словами Марты: «Господи, пусть сегодня будет день, когда ничего не происходит...»

Если б у меня сейчас хватило сил, то я мог бы написать историю старого Мюнхгаузена, который вдруг понял, что он мечтает о спокойном человеческом существовании, в котором есть своя радость — просто она пока недоступна нашему обществу. Этого мы не умеем делать. Понимаете, должны появиться новые люди, нью-нью-рашен, русские яппи.

Это все — к тому же сюжету. К тому же разговору: нужен совсем новый герой, обаятельный человек, который каждый день, с восьмью до десяти, занимается своим делом. Не ходит на подвиг, как Мюнхгаузен, а дело делает. В эти же часы. Первая неделя — одна поливка, вторая — две поливки...

Может быть, эти люди вырастут из нынешних школьников. Из тех, кто смотрит «Мюнхгаузена» сейчас как детский фильм...

● Елена ДЪЯКОВА

● P.S. В конце этого разговора, разговора в общем-то о смене героя, идеала, эпохи, породы человеческого, об уходе от нас — вверх, вверх — Карла Фридриха Иеронима фон... в самом конце разговора Григория Израилевича Горина позвали к телефону. Звонил мой коллега, сотрудник «Экспресс-газеты».

Вопрос у «Экспресс-газеты» к Горину был один: — Что вы думаете о знаменательной дате? — О какой? — переспросил он. — То есть как? Ровно двести пятьдесят лет назад в Россию прибыл барон Мюнхгаузен!

0602
Таршин
Трунцков
Е. 09.98